

искусственный выбор *поневоле* разлагается: ум, движимый стремлением, применяет только наведение, а стремление, движимое умом, опирается только на силлогизм — ситуация безразличия, когда «принципы известны не больше вывода». Без веры «выбор выбора» направлен на сущность только приводящим образом. Идеально цель включает в себя оба крайних термина. Реально средство содержит цель, удвоенную подтверждением. Из доверия к везению на средства научность сводится почти на нет, и выбор затрудняется в выборе.

Неизбежно повлияет на способ сказания, если мы будем обращать внимание больше на случай в выборе, чем на сам выбор. «Сказания бывают простые или сплетенные, ибо и действия, подражания которым они представляют, бывают именно таковы» (1452a13–14). Случайность выбора вносит в действие необходимость последующего *перелома* — «перемены делаемого в свою противоположность» (1452a22–26), и лишает сказание простоты. Вначале выбор отождествляется с узнаванием, часто сопутствующим перелому. «Выбор выбора» ненаучен и отталкивает узнавание будущего, предвосхищая перелом в самом предназначении. Внешне это похоже на стечение обстоятельств и вынуждает к самооправданию. «А так как трагедия есть подражание действию не только законченному, но и внушающему сострадание и страх, а это чаще всего бывает, когда что-то одно неожиданно оказывается следствием другого (такие события кажутся не случайными), то и наилучшими сказаниями будут именно такие» (1452a1–12).

Добиться очевидности для самого себя того факта, что вызов судьбы и вызов судьбе совершенно непреднамерены, — значит и в сфере практической философии осмыслить и проработать кажимость как стихийность.

А. Л. САВЕЛЬЕВ

## УЧЕНИЕ ДРЕВНИХ ДИАЛЕКТИКОВ О ВИДАХ И ЧАСТЯХ РЕЧИ

Вот уже около четырехсот лет содержание традиционной «школьной логики» укладывается в привычную схему «понятие–суждение–умозаключение». Как известно, традиция эта во многом определяется «Логикой Пор-Рояля», в свое время весьма популярной. Однако ни у средневековых, ни тем более у античных логиков мы не найдем аналогий этой схеме. Структура логического знания определялась тогда

совершенно иначе. В частности, если говорить об античной диалектике (так, пожалуй, будет более правильно, поскольку термин «логика» окончательно утвердился только в средние века), то окажется, что значительная часть этого искусства была более близка не тому, что мы теперь называем логикой, а скорее относилась к грамматике.

А если заинтересованный читатель попытается углубиться в историю предмета, то он еще более удивится, узнав, что практически вся грамматическая теория — та самая, которую все мы, надеюсь, изучали в школе (а наша школьная грамматика, как и все европейские, восходит к греческой), так вот, вся эта грамматическая теория была разработана диалектиками и для нужд диалектики. И лишь на закате античной философской традиции отдельные элементы диалектической теории воспринимаются грамматиками. Вопросу о том, как развивалось диалектическое учение о видах и частях речи, и посвящено настоящее исследование.

\* \* \*

Хотя мы и называем первыми диалектиками элеатов, но и более ранние философы-физиологи не были решительно чужды диалектического искусства: те еще несовершенные по форме доказательства, которыми подкрепляли свои мнения Фалес, Анаксимандр и другие философы, уже содержали в себе имплицитно вполне развившуюся позднее идею, на которой, собственно, и основывается диалектика, — идею разумного объяснения бытия, одним из приложений которой стало создание универсального метода аргументации. Но если по времени и по существу возникновение диалектики и появление философии совпадают, то окончательное вычленение первой из цельного организма философии происходит несколько позднее, когда универсальный метод философии сам становится предметом философского рассмотрения, оставаясь при этом «инструментальной» или «логической» частью философии. Если попытаться сравнить философию с древней теологической поэзией, то диалектика встала бы на то место, которое у поэтов занимал миф о Музах — дарительницах вещего слова. И в этом, надо сказать, очень ярко проявилось своеобразие как одной, так и другой формы: сверхъестественному дару богов противопоставлено то, чему в принципе может обучиться каждый, полагаясь лишь на свой собственный разум и опыт. И дар Муз, и диалектика равно связаны с языком, но язык диалектики не есть что-то чудесное и необычное, напротив, это то, с чем, как говорил Гераклит, «все люди сталкиваются напрямую»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. С.189.

И если поэты в объяснение своей деятельности не могли представить ничего, кроме рассказа о Музах и т. п. (что толку исследовать дары богов, получив их, надо ими пользоваться), то диалектики, не связанные в этом вопросе никакими обязательствами, пошли в исследовании своего языка много дальше. Впрочем, принципиальное различие диалектического (логического) и поэтического взглядов не воспрепятствовало первым диалектикам почерпнуть некоторые методы своего анализа именно в творениях поэтов — прежде всего это касается, конечно, этимологий. Начало диалектического осмысления речи связано с движением софистов, и, как и в учении об имени, приоритет разработки первого в истории диалектики учения о видах речи принадлежит Протагору. Знаменитый абдерит и здесь, в очередной раз, оказался первым.

Замечательно, что вначале были выделены именно виды речи, а не части, причину чего следует видеть, по нашему мнению, во влиянии наследия поэтов, как раз разделявших речь на виды — поэтическую и «обыкновенную». Но деление, предложенное Протагором, основывалось уже на принципиально ином различии, апеллирующем к тому, что мы теперь называем функциями речи<sup>2</sup> и что позднее составило основу выделения наклонений в грамматике. Протагор, по сообщению Диогена Лаэртского, разделил речь на просьбу, вопрос, ответ и приказание. Из этих четырех видов два средних — вопрос и ответ — непосредственно характеризовали формальную сторону диалектики. Разделение просьбы и приказания Протагор, по словам Аристотеля, иллюстрировал на примере первой строки «Илиады», упрекая Гомера за то, что он обращается к Музе с приказанием вместо просьбы: «Гнев, богиня, воспой . . .» (Поэтика, 1456b15). Другим важным нововведением Протагора было различие времен глагола, о чем также сообщает Диоген Лаэртский (IX, 52). Сам факт того, что речь идет о временах *глагола*, позволяет предположить, что у Протагора, возможно, уже было различие имени и глагола, т. е., помимо учения о видах речи, присутствовало и учение о частях речи.

Намеченный Протагором анализ речи получил свое дальнейшее развитие в диалектике сократиков, среди которых наиболее значительное влияние на последующее развитие учения о частях речи оказали школы Евклида и Платона. Так, например, Диоген Лаэртский указывает, что последователь Евклида Клиномах Фурийский «первым стал

<sup>2</sup>Это разделение функций речи и теперь привлекает внимание логиков. Так, например, А. А. Ивин, критикуя Д. Остина и Д. Серла за невнимание к «оценочному употреблению языка», выделяет шесть таких функций — описание, норму, «экспрессив», или выражение чувств, декларацию, обещание и оценку, упуская, тем не менее, выделенный Протагором вопрос (см.: Ивин А. А. Основы теории аргументации. М., 1997. С. 25).

писать об аксиомах, категоремах и тому подобном» (II, 112). Позднее же учение о категоремах (сказуемых) и аксиомах (суждениях), как мы знаем, составило существенную часть стоической диалектики; впрочем, и Аристотель активно использовал термин «категорема», наряду с введенными им «категориями». К тому же основатель стоической школы Зенон обучался у знаменитого мегарца Сильпона, из чего следует предположить, что не только условный и разделительный силлогизмы, но и вообще значительная часть из того, что отличает своеобразие стоической диалектики, была заимствована стоиками именно у мегариков. Вполне вероятно, что и знаменитое стоическое разделение обозначающего и обозначаемого, знака и значения, обнаруживающееся уже у Зенона, также восходит к Мегарской школе.

В мегарском духе разрабатывали диалектические вопросы представители Элидской школы, основанной Федоном; особенно это относится к Менедему, начиная с которого эта школа называется Эретрийской. Будучи также и учеником Сильпона, Менедем прославился и как искусный диалектик на практике<sup>3</sup>, и как теоретик, оригинально истолковывающий учение об аксиомах: «Говорят, он не признавал отрицательных аксиом и обращал их в положительные; а из положительных он признавал лишь простые и отвергал непростые, т. е. составные (συνημιμένα) и сложные (συμπλεγμένα)»<sup>4</sup>.

Итак, судя по всему, мегарики преимущественно исследовали составную структуру знаменитых элейских (да и своих, разумеется, тоже) «эленхов», прийдя к разложению их на «аксиомы», т. е. высказывания. Слово ἀξιῶμα, несмотря на достаточную многозначность, предполагает наличие некоторой оценки (ἀξιόω — достаиваю, почитаю, считаю, полагаю и др.), которую соответственно можно интерпретировать как истинную или ложную. Выделяя аксиомы среди других словесных выражений, мегарики, несомненно, должны были также пользоваться какой-то классификацией видов речи, наподобие протагоровской, т. е. различать вопрос, просьбу и пр.

Как следует из сообщения Диогена о Менедеме, мегарцы различали утверждение и отрицание, а также простые, сложные и составные высказывания (аксиомы). Это соответственно предполагало выделение

<sup>3</sup> «Спорщик он был отменный, — писал Антисфен в „Преемствах“, — особенно он любил допрос такого рода: „То-то и то-то — вещи разные?“ — „Так“ — „Польза и благо — вещи разные?“ — „Так“ — „Стало быть, польза не есть благо“» (*Диоген Лаэртский*. II, 134).

<sup>4</sup> *Диоген Лаэртский*. II, 135. — Снова, как и в случае с Клиномахом, мы встречаемся с терминологией, впоследствии известной как преимущественно стоическая. И опять более уместно здесь допустить не подозрительно частое приписывание Диогеном мегарикам и связанным с ними диалектикам (а Менедем учился у Сильпона) стоического учения, а действительное воздействие диалектики мегариков на стоическую.

союзов, при помощи которых связывались бы между собой простые высказывания: по крайней мере, уже ко времени Диодора Кроноса мегарикам были хорошо известны условное, разделительное и соединительное высказывания и их свойства. Обращает на себя внимание и различие выражения в речи совершенного и продолжающегося действия, дискуссия вокруг которых была подогрета оригинальным, но вполне в духе элеатов аргументом Диодора против движения: «Ничто не движется, но бывает подвинуто»<sup>5</sup>. Ему возражали, что истинность совершенного вида должна предполагать истинность несовершенного. В ответ Диодор приводил примеры истинного высказывания совершенного вида: «они женаты» при ложном высказывании несовершенного вида: «они женятся» и ряд других аргументов<sup>6</sup>.

Не вполне обоснованным поэтому представляется несколько пренебрежительное отношение многих историков логики<sup>7</sup> к учению мегарцев (в противопоставлении его диалектике Платона и Аристотеля), оценивающих его как «софистическое», «отрицательное» и т. п. Этот получивший распространение в современной истории логики «платоно-аристотеле-центризм» едва ли, конечно, может считаться современным продолжением древней вражды Афин и Мегар и, похоже, не находит для себя иных оснований, помимо сохранности текстов. Но то, что значительная часть диалектических трудов Платона и Аристотеля дошла до нас в более-менее приемлемом виде, в отличие от многих работ их предшественников, современников, равно как и позднейших авторов, очевидно, не может быть рассмотрено как нечто закономерное. Достаточно сомнительным будет выглядеть предположение, что сохранность тех или иных документов духовной жизни в течение времени есть процесс целенаправленный и что время-де доносит до нас исключительно самое важное и лучшее, избавляя от худшего и второстепенного.

Видимо, как раз напротив, знакомый нам уровень диалектических работ Аристотеля позволяет предположить, что недоступные для нас труды современника Платона Евклида Мегарского, современников Аристотеля Сильпона и Диодора Кроноса отличались также высоким уровнем. Да и сам гений Аристотеля, очевидно, не смог бы развиваться без достаточно глубокой базы диалектических исследований, созданной стараниями его предшественников и современников — Платона и академиков, мегариков, киников и др. Причем Мегарская школа в этом перечне занимает особое место. Не случайно мегариков считали в то

<sup>5</sup> *Секст Эмпирик*. Против ученых. X, 85.

<sup>6</sup> Там же. 91-103.

<sup>7</sup> «Школа мегариков ... превратив в карикатуру сократовскую науку понятий, ни в коей мере не способствовала дальнейшему развитию логики. ...». — *Pranil K.* Op.cit. S. 33.

время диалектиками по преимуществу, а о Сильпоне Диоген писал, что тот «едва не увлек в свою мегарскую школу всю Элладу»<sup>8</sup>.

Итак, если мегарцы основывали свое учение о частях речи на анализе собственной структуры «эленхов», то Платон в большей степени следовал тому учению о частях речи, которое было намечено еще Протагором. Так, важное значение он придавал различию имени и глагола, полагая их соединение необходимым для создания любого высказывания. Остается неизвестным, воспользовался ли Платон каким-то учением о глаголе, которое уже существовало до него, что вполне вероятно, или же пришел к этому самостоятельно. В частности, в пользу приоритета Платона говорит то, что в диалогах более раннего периода у него еще отсутствует подобное деление, наиболее выпукло обозначенное лишь в «Софисте», и что последующая традиция упорно связывает разделение имени и глагола именно с Платоном и академиками. Что же касается времен глагола, то Платон говорит о них как о чем-то уже хорошо известном:

*Парменид.* . . . Не представляется ли, что слова «было», «стало», «становилось» означают причастность уже к прошедшему времени?

*Аристотель.* Конечно.

*Парменид.* Далее, слова «будет», «будет становиться», «станет» не указывают ли на причастность времени, которое еще только должно наступить?

*Аристотель.* Да.

*Парменид.* А слова «есть», «становиться» — на причастность настоящему времени?

*Аристотель.* Именно так (141e). (Речь идет о том, что если рассматривать единое как непричастное времени, то к нему соответственно ни один из этих глаголов неприменим).

По наблюдению И. А. Перельмутера<sup>9</sup> в ранних диалогах Платон пользуется термином ῥῆμα достаточно разнообразно, применяя его как к отдельным словам, так и к целым высказываниям, и не связывая с ним соответственно никакого особенного значения, помимо того, что можно назвать «словесным выражением» вообще. Лишь в диалогах зрело-

<sup>8</sup>П., 113. — Характерную оценку популярности диалектики Сильпона дает приводимое Диогеном свидетельство Филиппа Мегарского: «У Феофраста он отбил Метродора-теоретика и Тимагора из Геллы, у Аристотеля Киренского — Клитарха и Симмия, и даже среди самих диалектиков он сманил Пеопия из Аристидовой школы, а Дифила Боспорского, сына Евфанта и Мирмека, сына Эксенета, вышедших спорить против него, сделал своими страстными приверженцами».

<sup>9</sup>Перельмутер И. А. Платон // История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1970.

го периода глагол получает более узкое (но отнюдь не тождественное современному) значение, причем упоминается, как правило, в соотнесении с именем. Наиболее подробно платоновское учение о глаголе изложено в «Софисте», в той части диалога, где чужеземец, гость из Элеи, доказывает Теэтету возможность существования ложного мнения (259e–264b). По замыслу Платона, это доказательство, таким образом, направлено непосредственно против Протагора (т. е. против его знаменитого тезиса «человек есть мера всех вещей», в соответствии с которым говорить ложь невозможно), однако удивительным образом оно основывается именно на том, о чем, по всей видимости, и учил Протагор: на анализе речи и ее свойств.

По мысли Платона, мнение и речь, чтобы иметь возможность быть ложными, должны взаимодействовать с небытием: «Заблуждения во все не существует, раз не существует такого взаимодействия», — говорит элейский гость (260e). В качестве же пути отыскания этого взаимодействия чужеземец предлагает заняться анализом слов: «Давай, как мы говорили прежде об идеях и буквах, рассмотрим таким же образом и слова, так как примерно таким путем раскрывается то, что мы ищем». В словах же следует прежде всего обратить внимание на возможности их сочетания: «... все ли они сочетаются друг с другом или же ни одно из них? Или некоторые склонны к этому, другие же нет?» (261d).

Итак, в центре внимания Платона оказывается уже не отношение имени и вещи, характерное для примитивной парадигмы, а взаимоотношения слов между собой, что оказалось возможным лишь в результате того переворота в мысли, который был произведен элеатами и софистами.

Для того чтобы рассмотреть возможности сочетания слов между собой, Платон и вводит различие имени и глагола:

*Чужеземец:* ... У нас ведь есть двоякий род выражения бытия с помощью голоса.

*Теэтет.* Как?

*Чужеземец.* Один называется именем, другой — глаголом.

*Теэтет.* Расскажи о каждом из них.

*Чужеземец.* Обозначение действий мы называем глаголом.

*Теэтет.* Да.

*Чужеземец.* Обозначение с помощью голоса, относящееся к тому, что производит действие, мы называем именем (261e–262a).

В основание этого деления положено различие действия и его производителя: первому соответствует глагол, второму — имя. Деление это, впрочем, не интересует Платона само по себе, а строится лишь

в поддержку следующего аргумента: речь (λόγος) не может быть составлена из одних имен или из одних глаголов<sup>10</sup>, а должна состоять по меньшей мере из одного имени и одного глагола: «Возьми, например, [глаголы] „идет“, „бежит“, „спит“ и все прочие слова, обозначающие действие: если бы кто-нибудь произнес их по порядку, то этим он вовсе не составил бы речи . . . Таким же образом если произносится „лев“, „олень“, „лошадь“ и любые другие слова, обозначающие все, что производит действие, то и из их последовательности не возникает речь. Высказанное никак не означает ни действия, ни его отсутствия, ни сущности существующего, ни сущности несуществующего, пока кто-либо не соединит глаголов с именами. Тогда все налажено, и первое же сочетание имени с глаголом становится тотчас же речью — в своем роде первую и самую маленькую из речей» (262b–c).

Далее, для того чтобы прийти, наконец, к нужному заключению, Платону приходится сделать следующее допущение: «Речь, когда она есть, необходимо должна быть речью о чем-либо: ведь речь ни о чем невозможна» (262e). Однако это предполагает, что не существует имен и глаголов с пустым значением, о которых говорил еще Парменид, но, напротив, все они значащи. А это, в свою очередь, приводит к утверждению существования некоторой особой, даже можно сказать жесткой, формы взаимодействия между вещами и именами — как раз той, которую Платон анализировал в Кратиле. Мир вещей и их действий, таким образом, прямо отображается на совокупность имен и глаголов. Это совершенно неожиданная для Платона, особенно после скептических выводов «Кратила», позиция крайнего реализма в отношении имен. Схожую точку зрения высказывал именно Кратил, но даже он считал, что современные имена уже безнадежно испорчены и никакого параллелизма имен и вещей не существует (поэтому-то он и показывал пальцем на предметы), и он же утверждал, что ложь произнести невозможно, и тот, кто говорит нечто подобное, просто «даром сотрясает воздух».

В «Кратиле», напомним, Сократ заставил Кратила отказаться от этого мнения, убедив его принять положение о том, что имена являются своего рода звуковыми изображениями, подражаниями вещей. Но в том же «Кратиле» собеседники в конце концов приходят к выводу о том, что и теория звукоподражания не может дать определенно истинного знания о вещах, да и вообще, как говорит в заключение Сократ: «несвойственно разумному человеку, обратившись к именам,

<sup>10</sup> Таким образом, по Платону, высказывания «Платон, ученик Сократа» или знаменитое «Veni, vidi, vici» Цезаря не являются осмысленными речами, что, конечно же, не так. С другой стороны, приведенные примеры можно рассматривать как предложения со скрытыми глаголом и именем: в первом случае — «есть», во втором — «я», на которое указывают окончания глаголов.

ублажать свою душу и, доверившись им и их присвоителям, утверждать, будто он что-то знает». В «Софисте» же, как видим, Платон вновь возвращается к отвергнутым им ранее взглядам.

Впрочем, скорее всего отмеченное несоответствие связано лишь со стремлением Платона найти более-менее правдоподобный аргумент для доказательства своего тезиса о существовании ложной речи и мнения и, следовательно, не носит принципиального характера. Кроме того, заявленное мнение в общем-то согласуется с известной точкой зрения Парменида, под несомненным влиянием которого написаны диалоги «Софист» и «Парменид», в отличие от «Кратила», основанного на совершенно иных источниках. В соответствии с элейской дихотомией истины и мнения, имена, используемые смертными, всецело принадлежат сфере мнения, никак не относясь к единому, о котором можно лишь сказать, что оно «есть». Но Платон и ищет в рассматриваемом нами фрагменте «Софиста» именно ложное мнение, которое соответственно и выражается при помощи «мнимых» слов: имен у Парменида и имен и глаголов у Платона. В отношении же к парменидовскому единому Платон, анализируя способы его выражения, также приходит к мысли о невозможности соотнесения с единым многих имен:

*Чужеземец* (говорит с воображаемыми сторонниками единого): Пусть они ответят на следующее: «Вы утверждаете, что существует только единое?» «Конечно, утверждаем», — скажут они. Не так ли?

*Теэтет*. Да.

*Чужеземец*. Дальше. Называете ли вы что-нибудь бытием?

*Теэтет*. Да.

*Чужеземец*. То же ли самое, что вы называете единым, пользуясь для одного и того же двумя именами? Или как?

*Теэтет*. Что же они ответят после этого, чужеземец?

*Чужеземец*. Ясно, Теэтет, что для того, кто выдвигает такое предположение, не очень-то легко ответить как на этот, так и на любой другой вопрос.

*Теэтет*. Как так?

*Чужеземец*. Допускать два наименования, когда не существует ничего, кроме единого, конечно, смешно (244b–c).

Подобная аргументация по поводу того, что о едином нельзя сказать ничего, кроме того, что оно единое, содержится и в «Пармениде» (147c–e). Итак, слова, строго соответствующие вещам относятся исключительно к сфере мнения, а не строгого знания. И эта «мнящая» речь, согласно Платону может быть истинной или ложной, т. е. обладает определенным качеством. Истинная высказывает «существу-

ющее, как оно есть», а ложная «говорит о несуществующем как о существующем» (263b). Более развернутое описание ложной речи Платон приводит ниже: «Если, таким образом, о тебе говорится иное как тождественное, несуществующее — как существующее, то совершенно очевидно, что подобное сочетание, возникающее из глаголов и имен, оказывается поистине и на самом деле ложной речью».

Ложная речь и мнение, таким образом, сводятся Платоном к противоречию. Далее следует еще одно любопытное рассуждение, в котором философ утверждает фактическое тождество речи и мышления:

*Чужеземец.* Не есть ли мысль и речь одно и то же, за исключением лишь того, что происходящая внутри души беззвучная беседа ее с самой собой и называется у нас мышлением?

*Теэтет.* Вполне так.

*Чужеземец.* Поток же звуков, идущий из души через уста, назван речью.

*Теэтет.* Правда.

*Чужеземец.* И мы знаем, что в речах содержится следующее. . .

*Теэтет.* Что же?

*Чужеземец.* Утверждение и отрицание (263e).

Здесь следует еще раз подчеркнуть, что речь, содержащая утверждение и отрицание, состоящая, в свою очередь, из имен и глаголов, относится лишь к сфере мнения, более или менее правдоподобного. Именно поэтому, собственно говоря, она и может содержать утверждение и отрицание, а также быть истинной и ложной. Соответственно и мир, состоящий из вещей и их действий, который отображается в речи именами и глаголами, также есть мир мнимый, а не действительный. Тем не менее отсюда не следует, что этими вещами можно пренебрегать: сам Платон неоднократно впоследствии возвращался к своему учению о речи и ее делении, различие имени и глагола отмечалось им во многих местах (см., напр.: Теэтет, 206d).

Однако в более систематическом виде общая позиция Платона в отношении речи и ее места в познании находит отражение в его поздних работах. Так, в «Законах» Платон выделяет три следующих аспекта рассмотрения всякой вещи: во-первых, ее сущность; во-вторых, определение (логос), и, в-третьих, имя (895d). Само же познание вещи движется от имени, через определение (речь), составленное из имен и глаголов, к сущности. Имя — соответственно самая начальная ступень познания вещи: и действительно, естественным ответом всякого человека на вопрос: «Знаешь ли ты что это? (кто это?)» будет указание имени. Определение, — а в платоновской терминологии речь (логос) — уже более высокая ступень познания, также отвечающая на вопрос

«что (кто) это?», но уже с оттенком смысла «каково это?» — слагается из имен и глаголов, т. е. указывает на действия исследуемой вещи. Наконец, сущность — предел, к которому и стремится познание.

Еще более разветвлено эта схема представлена в знаменитом VII письме: «Для каждого из существующих предметов есть три ступени, с помощью которых необходимо образуется его познание; четвертая ступень — это само знание, пятой же должно считать то, что познается само по себе и есть подлинное бытие: итак, первое — это имя, второе — речь, третье — изображение, четвертое — знание. Если ты хочешь понять, что я говорю, возьми какой-нибудь один пример и примени его ко всему. Например, „круг“ — это нечто произносимое, и имя его — то самое, которое мы произнесли. Во-вторых, его определение составлено из имен и глаголов. Предложение: „То, крайние точки чего повсюду одинаково отстоят от центра“, — было бы определением того, что носит имя „круглого“, „закругленного“ и „окружности“. На третьем месте стоит то, что нарисовано, и затем стерто или выточено, и затем уничтожено. Что касается самого круга, из-за которого это все творится, то он от всего этого никак не зависит, представляя собой совсем другое. Четвертая ступень — это познание, понимание и правильное мнение об этом другом. Все это нужно считать чем-то единым, так как это существует не в звуках и не в телесных формах, но в душах; благодаря этому ясно, что оно — совершенно иное, чем природа как круга самого по себе, так и тех трех ступеней, о которых была речь выше. Из них понимание наиболее родственно, близко и подобно пятой ступени, все же остальное находится от нее много дальше» (342).

Итак, речь и все, что с ней связано, составляет низшую, но, тем не менее, необходимую ступень познания — таково общее мнение Платона, достаточно близкое в этой части, как можно видеть, взглядам элеатов. Это подтверждается и тем местом, которое учение о речи занимает в диалогах Платона: как правило, те или иные положения он приводит, как можно было убедиться, лишь для иллюстрации или подтверждения более существенных, по его мнению, вопросов. Так, например, исследование правильности имен в «Кратиле» служит утверждению платоновского учения об идеях, а различие частей речи в «Софисте» предназначено для обоснования учения о соотношении бытия и небытия. А все это вместе — направлено на достижение той, предельной пятой ступени познания, которая уже не нуждается ни в имени, ни в речи, ни в изображениях и ради которой, собственно говоря, все и предпринимается.

Тем не менее, несмотря на такое, несколько снисходительное отношение Платона к вопросам языка, его как бы вскользь высказанные замечания оказали практически ни с чем не сравнимое воздействие

на дальнейшее развитие науки о языке. И в первую очередь это касается различия имени и глагола. Только это деление позволило, наконец, совершенно освободиться от примитивного отношения к речи, мыслящего язык исключительно собранием имен. Попутно «центр тяжести» диалектических исследований речи был перенесен из поднадоевших всем этимологий и других исследований имен в совершенно новую плоскость изучения соединений слов, сопровождаемая дальнейшей дифференциацией частей речи.

В историографии (особенно филологической) долгое время обсуждался и продолжает обсуждаться достаточно нелепый, по нашему мнению, вопрос: следует ли считать платоновское деление слов на имена и глаголы логическим или грамматическим? При этом мало кто обращал внимание на то, что во времена Платона ни грамматики, ни логики, подобных современным, и близко не было; но, напротив, именно благодаря основателю Академии как раз и возникли возможности для последующего развития и того, и другого. Справедливо, следовательно, было бы спрашивать о том, какие из современных дисциплин восприняли те или иные идеи Платона и каким образом; но совершенно нелепо спрашивать о том, к области какой именно современной науки эти идеи могут быть отнесены.

Действительно, в наше время мы пользуемся рядом терминов «близнецов», относимых к компетенции различных наук. Так, например, русские «подлежащее» и «сказуемое» традиционно считаются терминами грамматики, а их латинские аналоги «субъект» и «предикат» — относятся к логике. Что же касается греческих *ὄνομα* и *ῥῆμα*, то в древности, обозначая то, что мы называем именем и глаголом (речением), они обозначали и то, что мы теперь выражаем словами «подлежащее» и «сказуемое», и то, что теперь называем «субъектом» и «предикатом», безразлично. На вопрос же об отнесении этого деления к логике или грамматике, следует, видимо, ответить так: если имеются в виду современные нам науки, то оно равно принадлежит обеим; если же нас интересуют современные Платону науки, то, конечно, это деление принадлежит диалектике, поскольку к грамматике, представлявшей в то время учение о буквах, оно, очевидно, никакого отношения не имело.

Итак, ко времени Аристотеля диалектическое учение о видах и частях речи выглядело уже достаточно разработанным. В отношении видов речи общее движение мысли шло к выделению таких словесных выражений, которые могли бы быть квалифицированы как истинные и ложные, чего еще не предполагалось первым разделением речи на вопрос, ответ, просьбу и приказание, разработанным Протагором. И, напротив, мегарики пришли к выделению своих аксиом, а Платон —

к составленным из имен и глаголов предложениям (λόγοι), которые он разделял, в свою очередь, на утверждение и отрицание. Таким же образом и мегарские философы делили аксиомы на утвердительные и отрицательные, но к этому делению у них еще добавлялось деление на простые и сложные аксиомы, составленные из простых. Что касается учения о частях речи, то здесь определяющее значение имело разделение имени и глагола, намеченное, судя по всему, еще Протагором и развитое Платоном. Протагор же выделил роды имен и времена глагола — настоящее, прошедшее и будущее. Кроме того, в Мегарской школе были выделены подлежащие и сказуемые (категоремы) и проведено различие между выражением совершенного и продолжающегося действия.

\* \* \*

Языковая теория Аристотеля представляется непосредственным развитием идей его учителя Платона; в особенности это касается книги «Об истолковании». «Прежде всего следует установить, что такое имя и что такое глагол; затем — что такое отрицание и утверждение, высказывание и речь», — так начинает свое сочинение Стагирит. Как можно видеть, предлагаемые вопросы почти буквально следуют тому ходу изложения, которого придерживался Платон в «Софисте»; исключение составляет лишь особенное выделение высказывания (ἀπόφανσις) среди прочих речей, которого еще не было у Платона.

В основании аристотелевского учения о речи лежит представление о ее знаковом характере: «... то, что в звукосочетаниях, — это знаки представлений в душе, а письмена — знаки того, что в звукосочетаниях. Подобно тому как письмена не одни и те же у всех [людей], так и звукосочетания не одни и те же. Однако представления в душе, непосредственные знаки которых суть то, что в звукосочетаниях, у всех [людей] одни и те же, точно так же одни и те же предметы, подобия которых суть представления». Итак, структура языка, по Аристотелю, следует за структурой внешнего мира, посредствующим звеном чего служат представления (ψυχῆ παθήματα), своего рода отпечатки в душе.

Речи, а вместе с ними и представления делятся на такие, которые могут быть истинными или ложными, и такие, которые не обладают этим свойством: «Подобно тому как мысль то появляется в душе, не будучи истинной или ложной, то так, что она необходимо истинна или ложна, точно также и в звукосочетаниях, ибо истинное и ложное имеются при связывании и разъединении», — повторяет Аристотель мысль из «Софиста». В качестве же таких звукосочетаний, которые еще не истинны или ложны, он указывает имя и глагол: «Имена же и глаголы сами по себе подобны мысли без связывания или разъединения,

например „человек“ или „белое“; когда ничего не прибавляется, нет ни ложного, ни истинного, хотя они и обозначают что-то: ведь и „козлооленя“ что-то обозначает, но еще не истинно и не ложно, когда не прибавлен [глагол] „быть“ или „не быть“ — либо вообще, либо касательно времени» (16a). Здесь важным добавлением Аристотеля является «разъединение», которого еще не было у Платона. Кроме того, отнюдь не случайно в конце упоминание времени. Именно признак наличия (или отсутствия) указания на время Аристотель и положил в основу своих определений имени и глагола: «Имя есть такое звуко-сочетание с условленным значением безотносительно ко времени, ни одна часть которого отдельно от другого ничего не означает», — последнее условие добавлено Аристотелем, вероятно, в том числе и для того, чтобы отвлечь своих последователей от злоупотребления этимологиями, весьма популярными в диалектических спорах той эпохи<sup>11</sup>. Поэтому ему и приходится принять допущение, что в сложных составных именах части их ничего не значат. Соответственно Аристотель занимает достаточно определенно позицию «по установлению» в отношении имен: «Имена имеют значение в силу соглашения, ведь от природы нет никакого имени. А [возникает имя] когда становится знаком, ибо членораздельные звуки хотя и выражают что-то, как, например, у животных, но ни один из этих звуков не есть имя» (16a 25).

Далее, и этого уже нет у Платона, Аристотель, кроме собственно имени, выделяет неопределенное имя, или имя с отрицанием, и падежи имен: «„Не-человек“ не есть имя; нет такого имени, которым можно было бы его назвать, ибо он не есть ни речь, ни отрицание. Пусть он называется неопределенным именем. „Филона“ же или „Филону“ и тому подобное — не имена, а падежи имени. Смысл их остается тем же самым, но вместе с [глаголом] „есть“ или „было“ или „будет“ они не выражают истины или лжи, имя же [вместе с глаголом] всегда их выражает» (16b). Отрицательные имена, таким образом, отбрасываются вследствие слишком неопределенного значения, а падежи — потому что не могут быть подлежащим высказывания. В этом проявляется та же двойственность в отношении имен и глаголов, что была и у Платона: имя и глагол мыслятся Аристотелем не только как особенные части речи, но и как члены предложения, подлежащее и сказуемое, поэтому-то падежи и не включаются в число имен как таковых.

Схожим образом Аристотель определяет глагол: «... глагол есть

<sup>11</sup> «Диалектики должны всячески избегать такого рода способа, [т. е.] остерегаться рассуждать по поводу имен, разве только в том случае, когда кто-нибудь иначе рассуждать о предмете не в состоянии», — пишет Аристотель в «Топике» (108a 34–36).

[звукосочетание], обозначающее еще и время; часть его в отдельности ничего не обозначает, он всегда есть знак для сказанного об ином». Под иным же подразумевается, по словам Аристотеля, какое-либо «подлежащее, или то, что находится в подлежащем», которое, в свою очередь, обозначается именем. Итак, глагол созначает время — это важная деталь, добавленная Аристотелем; а сами времена он использует те же, что были выделены еще Протагором — это настоящее, прошедшее и будущее. Подобно именам, Аристотель выделяет также неопределенные глаголы: «нездоров», «неболен» и падежи глаголов. Падежи глаголов, в отличие от имен, изменяются по временам: собственно глаголом Аристотель считает лишь глагол настоящего времени, падежи же обозначают «время до и после настоящего». Связано это, по всей видимости, с тем, что только высказывания о настоящем времени допускают в ряде случаев непосредственную верификацию, а именно это и важно для Аристотеля.

Речь (*λόγος*) определяется Аристотелем как «такое смысловое звукосочетание, части которого в отдельности что-то обозначают как сказывание, но не как утверждение или отрицание». «Но не всякая речь есть высказывающая речь, а лишь та, в которой содержится истинность или ложность чего-либо; мольба, например, есть речь, но она не истинна и не ложна». Прочие виды речи Аристотель относит к компетенции риторики и поэтики, оставляя за диалектикой право заниматься лишь высказываниями. Далее, как и у Платона, высказывания делятся на утверждение и отрицание, а кроме того, Аристотель подразделяет их, подобно мегарикам, на простые и сложные. Простое высказывание определяется им с учетом всего вышеизложенного как «звукосочетание, обозначающее присущность или неприсущность чего-то с различием во времени».

Как можно видеть, в основу изложенного учения положено различие следующих свойств речи: наличия/отсутствия значения; наличия/отсутствия значащих частей; отношения ко времени; выражения истины или лжи. В соответствии с первым критерием звукосочетания делятся на осмысленные и неосмысленные (например, крики животных), в соответствии со вторым различаются сказывание (*φάσις*) и речь; третье деление — по отношению ко времени дает имя и глагол, и, наконец, речи, заключающие в себе истину и ложь, выделяются как высказывания. Высказывания состоят из имен и глаголов: «... каждая высказывающая речь необходимо заключает в себе глагол или изменение глагола». Высказывания, в свою очередь, делятся на простые и сложные, а простые — на утверждение и отрицание. «Утверждение есть высказывание чего-то о чем-то. Отрицание есть высказывание, [отнимающее] что-то от чего-то» (17a 25).

На подобных же основаниях, но с несколько иными акцентами излагается учение о речи в «Поэтике» и «Риторике». «К [области] мысли относится все, что должно быть достигнуто словом; части же этой задачи — доказывать и опровергать, возбуждать страсти (такие, как сострадание, страх, гнев и тому подобные), а также возвеличивать и умалять»<sup>12</sup>, — так Аристотель определяет сферы приложения трех словесных искусств. Все они имеют, таким образом, непосредственное отношение к речи: диалектика, рожденная доказывать и опровергать, поэтика, призванная возбуждать страсти, и риторика, назначенная умалять и возвеличивать. Но поскольку наука о доказательстве выше поэтики и судебных речей, то та теория речи, которая развита Аристотелем в диалектике, кладется им в основание и поэтики, и риторики.

«Речь (λέξις) в целом имеет следующие части: буква, слог, союз, член, имя, глагол, отклонение (падеж), высказывание», — так начинается 20-я глава «Поэтики» (впоследствии это выделение именно восьми частей речи приобрело какое-то особенное и труднодостижимое, почти магическое значение). Последние четыре части речи, перечисленные в «Поэтике», как можно видеть, соответствуют тем, что описаны в книге «Об истолковании». Но здесь опущены неопределенные имя и глагол, в которых нет нужды поэтам, и добавлены буква, слог, союз и член, не отмеченные в книге «Об истолковании».

Буква (στοιχεῖον) определяется как неделимый звук, способный произвести звук осмысленный (неделимые звуки есть и у животных, но они не являются буквами); буквы делятся на гласные, полугласные и безгласные. Слог (συλλαβή) — незначащий звук, сложенный из букв безгласной и гласной или полугласной. Союз (σύνδεσμος) — незначащий звук, «который не мешает и не содействует сложению единого значащего звука, возникшего из многих звуков: [он ставится] и на концах и в середине предложения, хотя в начале его не может стоять сам по себе, [а только при другом слове] как μήν (конечно, право), δε (конечно, так), τοι (конечно, точно), δε (вот этот, этот именно). Или это незначащий звук, который из нескольких значащих звуков может образовать один значащий звук [как ἄμφι, περί (около, кругом) и тому подобное]». Член (ἄρθρον) — «незначащий звук, показывающий начало, конец или разделение высказывания», или же «незначащий звук, который не мешает и не содействует [сложению] единого значащего звука из многих звуков и может ставиться и на концах, и в середине высказывания».

Впрочем, из приведенных определений не вполне ясна разница между союзами и членами — те и другие могут ставиться в конце и

<sup>12</sup>Поэтика. 1456a 36–40.

середине предложения и относиться к незначащим звукам. Примеры союзов указывают не столько на союзы в привычном для нас смысле, сколько вообще на слова, употребляющиеся для связи, в то же время члены, показывающие «разделение высказывания», более близки союзам в нашем смысле<sup>13</sup>. Таковы определения четырех *незначащих* (т. е. не указывающих непосредственно на какие-либо предметы или их действия) частей речи, упоминание о которых отсутствует в книге «Об истолковании». По всей видимости, Аристотель полагал, что незначащие части речи в меньшей степени представляют интерес для диалектики<sup>14</sup> и соответственно поместил их лишь в поэтическое руководство пользования речью.

Следующие четыре части речи: имя, глагол, падеж и высказывание относятся уже к значащим; их определения подобны тем, что даны в книге «Об истолковании», но имеются и некоторые отличия. Так, имя (*ὄνομα*) определяется как «звук сложный, значащий, без [признака] времени и такой, части которого сами по себе незначащи». Глагол (*ῥῆμα*) — «звук сложный, значащий, с признаком времени и такой, части которого сами по себе незначащи». «Падеж (*πτῶσις*) имени и глагола — это когда они обозначают „кого? кому?“ и тому подобное», или же число, или же вопрос, просьбу или приказание (последнее — только для глагола). Наконец, речь (*λόγος*) — «звук сложный, значащий и такой, части которого сами по себе значащи».

Итак, к тем критериям, на основе которых были выделены части речи в книге «Об истолковании», добавлена делимость/неделимость, более подробно изложены незначащие части речи, исключены неопределенные имя и глагол, выделение высказывания и деление высказываний на утверждение и отрицание. Обе классификации, таким образом, взаимно дополняют друг друга и восходят к общим основаниям философии Аристотеля. Так, например, критерий делимости/неделимости относится к внешней, материальной, стороне слова как знака, а наличие/отсутствие значения — к его формальной стороне. Сущность знака состоит в том, чтобы обладать значением, поэтому значение и определяет форму знака. Материальная же его часть может быть различной: в словах — это звуки или буквы (древние часто не различали специально звук и букву, обозначающую этот звук): «... Звуки речи у слогов,

<sup>13</sup>Затруднения в интерпретации аристотелевских союзов и членов рассмотрены И. А. Перельмутером (см.: История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980).

<sup>14</sup>Впрочем, в «Первой Аналитике» Аристотель указывает на смысловозначительную функцию члена, близкую к современному квантору общности: «Так как высказывание „удовольствие есть благо (*ἀγαθόν*)“ не то же самое, что высказывание „удовольствие есть благо [вообще] (*τὸ ἀγαθόν*)“, то эти термины нельзя брать одинаково» (49b10).

материал изделий — все они причины этих вещей в значении того, из чего эти вещи состоят» (Метафизика, 1013b).

Помимо этой, собственно теоретической части, составляющей содержание 20-й главы «Поэтики», в гл. 21 содержатся и некоторые результаты наблюдения Аристотеля над особенностями речи, в которых больше нуждаются поэты, нежели диалектики. Так, имя делится им, во-первых, на простое и составное, во-вторых, на общеупотребительное, редкое, переносное, украшательное, сочиненное, удлинненное, укороченное и измененное. Имена также делятся по роду на мужские, женские и средние, как и у Протагора. 22-я глава посвящена достоинствам речи, каковых Аристотель усматривает два — «быть ясной и не быть низкой».

Таковы основоположения аристотелевского учения о речи, изложенного в книгах «Об истолковании» и «Поэтика». Как можно видеть, Аристотель во многом продолжает ту линию, которая была намечена его учителем, пытаясь тем не менее «встроить» учение о речи в свою собственную философскую систему. Так, если у Платона исследования имен и частей речи производились ввиду явного влияния его учения об идеях, о соотношении бытия и небытия и пр., то для Аристотеля такую же методологическую роль выполняют различие бытия в возможности и бытия в действительности, материи и формы и другие существенные положения его доктрины.

Итак, структура языка, по Аристотелю, следует за структурой мира, посредующим звеном чего служит мысль. Мысль и речь в этой системе связаны достаточно прочно, и Аристотель не может принять мнение тех, кто строго различает то, что относится лишь к слову, от того, что относится к мысли: «Нет различия между доводами, о котором говорят иные, будто одни из них касаются слова, а другие — смысла. Ведь нелепо полагать, будто доводы, касающиеся слова, и доводы, касающиеся смысла, разные, а не одни и те же. Ведь что значит „не касается смысла“, как не то, что употребляют слово не в том значении, с каким спрошенный согласился и в каком, как он полагает, его спросили. Это и значит касаться слова. А касаться смысла — значит употреблять слово в том значении, какое имел в виду [отвечающий], когда дал свое согласие» (О софистических опровержениях. 170b 10–20). Лишь то, что относится к материальной стороне знака — буквам и слогам, может быть названо относящимся исключительно к слову, а не смыслу; все же прочее, поскольку имеется в виду значение слова, должно быть признано равно относящимся и к слову, и к смыслу.

Но, допуская такой параллелизм, следует помнить о возможных ловушках языка: «В самом деле, так как нельзя при рассуждениях приносить самые вещи, а вместо вещей мы пользуемся, как их зна-

ками, именами, то мы полагаем, что то, что происходит с именами, происходит и с вещами, как это происходит со счетными камешками для тех, кто ведет счет. Но соответствия здесь нет, ибо число имен и слов ограничено, а количество вещей неограниченно» (О софистических опровержениях. 165а 5–12). Таким образом, Аристотель, следуя в общем русле намеченной им теории, признает лишь количественные расхождения слов и вещей.

К числу ловушек языка, создающих затруднения при понимании, прежде всего относятся ономимия (одноименность), синонимия (соименность) и паронимия (отыменность), с рассмотрения которых начинается трактат «Категории». Это произведение, в отличие от книги «Об истолковании», не столько развивает учение о частях и видах речи, сколько продолжает ту линию исследований, которая была намечена в «Кратиле». Содержанием «Категорий» является анализ значений изолированных слов, т. е. то, что составляло ранее предмет «правильности имен». Так, следуя, возможно, Демокриту, Аристотель называет одноименными «те предметы, у которых только имя общее, а соответствующая этому имени речь о сущности разная», соименными — «те предметы, у которых и имя общее, и речь о сущности одна и та же», и отыменными — «предметы, которые получают наименование от чего-то в соответствии с его именем». В первом случае получается, что одно имя обозначает несколько различных предметов, поскольку имен меньше, чем вещей; во втором случае, напротив, одна и та же вещь называется по-разному: в частности, в виде сказывается и имя вида и имя рода, и в третьем — речь идет о связи имен, проистекающей из связи предметов.

Далее Аристотель подразделяет все высказываемое на то, что говорится «в связи», и то, что говорится «без связи». В связи — это составленные из имен и глаголов высказывания: «человек побеждает», «бык бежит» и пр., те, о которых Платон писал в «Софисте», а сам Аристотель рассматривал в книге «Об истолковании». «Категории», напротив, посвящены анализу того, что говорится «без связи»; роды этих, высказанных без связи слов Аристотель и называет категориями. Как было отмечено выше, речь Стагирит представлял существующей параллельно миру вещей за тем исключением, что слов меньше. Поэтому и свое учение о категориях он предваряет соотношением того, что существует, тому, что сказывается о существующем.

Соответственно получается четыре следующих соотношения подлежащего и сказуемого (также обозначающего вещь, ее действие или свойство): первый тип возможных сказуемых говорится о некоторых подлежащих, но сам не находится ни в каком подлежащем — это высказывания рода о виде или вида об индивидуе, например: «Сократ —

человек». Второй тип находится в подлежащем, но не сказывается ни о каком подлежащем, как, например, «умение читать и писать находится в подлежащем — в душе, но ни о каком подлежащем не говорится как об определенном умении читать и писать». Третий тип и говорится о подлежащем, и находится в подлежащем, как, например, «знание находится в подлежащем — в душе и о подлежащем — умении читать и писать говорится как о знании». Наконец, четвертый тип «невозможного сказуемого» не находится ни в каком подлежащем и не говорится ни о каком подлежащем — это единичные чувственно воспринимаемые вещи<sup>15</sup>.

Единичные вещи вообще, по Аристотелю, не могут быть сказуемыми, поскольку составляют некоторый предел, не поддающийся ограничению, следовательно, в высказывании с таким сказуемым требовалось бы взять подлежащим нечто меньшее, что невозможно. Эти единичные вещи, которые не могут быть сказуемыми, как можно видеть, Аристотель делит на два класса: те, что не находятся ни в каком подлежащем, и те, что могут находиться в определенном подлежащем. Пример первого — отдельный человек; пример второго — грамотность. Но подобным образом делятся и те предметы, которые могут высказываться о подлежащем: одни из них находятся в подлежащем, как знание, другие — нет, как человек. Таким образом, приведенные примеры строго делятся на две группы — те, что находятся в подлежащем, как знание и грамотность, и те, что не находятся в подлежащем, как человек во-

<sup>15</sup>В «Первой Аналитике» это деление производится несколько иначе: «Из всего существующего иное таково, что оно не может истинно сказываться как общее о чем-либо другом, как, например, Клеон и Каллий и все единичное и чувственно воспринимаемое; но о них может сказываться остальное (ибо каждый из них есть человек и живое существо). Иное из существующего таково, что хотя само оно о другом сказывается, но ничто другое, что [было бы] первое его, не сказывается; остальное же таково, что и само сказывается о другом и другое — о нем самом, как, например, „человек“ — о Каллии, а „живое существо“ — о человеке. Ясно, таким образом, что иное из существующего по своей природе таково, что не может о чем-либо сказываться, ибо каждый чувственно воспринимаемый предмет, пожалуй, таков, что не может о чем-либо сказываться, разве что привходящим образом. Говорим же мы иногда, что то бледное есть Сократ, а то, что идет, — Каллий . . . Что же касается [наиболее общего], то нельзя доказать, что нечто другое о нем сказывается, разве только на основании мнения, но оно само может сказываться о другом. И точно также единичное не сказывается о чем-то другом, но другое может сказываться о нем. Наконец, в отношении промежуточного между ними ясно, что возможно и то и другое, а именно и само оно сказывается о другом, и другое — о нем. Рассуждения и исследования имеют своим предметом главным образом, пожалуй, это промежуточное» (43a25–45). Здесь получается несколько иная, тройственная иерархия вещей в их отношении к познанию: первое — это чувственно воспринимаемые единичные вещи; второе — роды и виды, представляющие объект для рассуждения и доказательства; третье — наиболее общее, о чем не высказывается ничто иное, — объект мнения. Первые и вторые вещи соответствуют, таким образом, первым и вторым сущностям из «Категорий».

обще и отдельный человек, причем первые не сказываются о вторых. Грамотность по отношению к знанию представляет примерно то же, что и отдельный человек по отношению к человеку, однако свойства их оказываются различны. Те предметы, которые не находятся ни в каком подлежащем (как человек), Аристотель называет сущностями, противопоставляя их всему остальному. Соответственно в наших примерах человек — это сущность, а знание и грамотность — нет, поскольку «общая черта всякой сущности — не находится в подлежащем».

Следовательно, всякое слово, высказанное «без связи», может указывать либо на сущность, либо на что-то иное. Это иное, в свою очередь, делится Аристотелем на количество («сколько?»), качество («какое?»), отношение, место («где?»), время («когда?»), положение, обладание, действие и претерпевание. В других текстах список категорий иногда сокращается до трех: сущность, свойства, «по отношению к чему-то» (Метафизика. 1089b20), в некоторых текстах к первым трем (1069a19) или пяти (1029b23) категориям добавляется категория движения, в другом месте вводятся категории места и времени (1069a23), но противопоставление сущности и всего прочего сохраняется везде.

Это учение, в основе которого лежит противопоставление подлежащего и сказуемого, восходит, по-видимому, не к Платону, а скорее к мегарской диалектике, как раз и занимавшейся исследованиями сказуемых (категорем). Другим, более опосредованным историческим предшественником учения о категориях представляется наука о «правильности имен», которой учили Протагор и Продик. Действительно, подобно родам и видам Сократа и Платона, категории Аристотеля являются не чем иным, как специфическим средством распределения имен, в соответствии с которым и может быть установлена их правильность, однако эта правильность уже не относится к материальной стороне слова — составляющим его буквам и соответственно не имеет вида этимологии, а связана со значением.

Поэтому одним из любимых методологических приемов Аристотеля является исследование значений слов, восходящее именно к «правильности имен». В «Топике» этот прием стоит на втором месте в числе способов построения силлогизмов: «первое — это принятие положений, второе — умение разбирать, в скольких значениях употребляется каждое имя» (105a 20–25), и примеров его использования Аристотелем более чем достаточно. Зачастую именно разбор существующих значений того или иного слова заменяет определение — и так, отталкиваясь от обнаруженных этим способом значений, он и строит далее свое учение. Наглядным примером осуществления этой методологии является пятая книга «Метафизики», практически вся состоящая из анализа словоупотребления основных терминов философии Аристо-

теля, впрочем, и в других работах нет недостатка в подобных исследованиях.

Известны различные интерпретации аристотелевского учения о категориях<sup>16</sup>, соотносящие их, как правило, либо с бытием, либо с мышлением, либо с языком. Категории, таким образом, поясняются или как роды бытия, или как элементы структуры познания, либо как лингвистические феномены. Последнюю точку зрения настойчиво развивал А.Тренделенбург, предложивший следующую схему соответствия категорий частям речи<sup>17</sup>:

Сущность	Имя существительное
Качество	Имя прилагательное
Количество	Имя числительное
Отношение	Сравнительная степень прилагательных и наречий, нуждающихся в дополнении
Место и время	Наречия места и времени
Действие и страдание	Глаголы действительного и страдательного залога
Положение	Непереходные глаголы
Обладание	Особенность перфекта глаголов страдательного залога в греческом языке

Перечисленные в правом столбце феномены речи и явились, по мысли Тренделенбурга, источником возникновения соответствующих категорий. Однако, несмотря на очевидную оригинальность, это сопоставление едва ли можно считать удовлетворительным: из всего, что указано справа, Аристотелю были известны лишь имя и глагол, что же касается отмеченных существительного, прилагательного, наречия и пр., то они выделялись, каждое в свое время, в течение семисот лет после Аристотеля — частью диалектиками, частью грамматиками. Во времена же Аристотеля грамматика, будучи учением о буквах, очевидно, не могла предоставить никакого материала для диалектики. Диалектическое учение о речи также не давало еще возможности для выделения таких явлений, как переходность/непереходность глаголов, степеней сравнения прилагательных и всего прочего, что указано в схеме. Предположение Тренделенбурга сразу же вызвало критику со стороны тех, кто усматривал в категориях преимущественно онтологическое или гносеологическое содержание. Однако, по нашему мнению, все три трактовки могут иметь место, и то, что Тренделенбург провел не вполне корректное сопоставление, не может служить основанием для того, чтобы вовсе отвергнуть лингвистический смысл категорий.

<sup>16</sup>Обзор современных трактовок категорий Аристотеля см.: Луканин Р. К Категории Аристотеля в истолковании западноевропейских философов // Зарубежное философское антиковедение: критический анализ. М., 1990. С. 84–103.

<sup>17</sup>Схема приводится по Р. К. Луканину (см.: Там же. С. 89); см. также эту схему и ее анализ в работе А. О. Маковельского «История логики» (М., 1967. С. 121–122).

Категории, и это находит прямое подтверждение в тексте трактата, действительно выступают прежде всего как особенные разряды слов, «сказанных без связи». Но соотносятся они не столько с тем, что теперь мы называем частями речи, сколько с членами предложения, причем все категории являются сказуемыми, но не все могут быть подлежащими, а только первые четыре, причем сущность в большей степени является для всего подлежащим, а качество, количество и отношение — лишь приводящим образом. При этом не следует забывать о предполагавшейся Аристотелем достаточно тесной связи речей, мыслей и вещей, ими отображаемых, так что подлежащее и сказуемое получают не только непосредственную лингвистическую, но и онтологическую и гносеологическую интерпретации.

Итак, можно сказать, что учение о речи — достаточно важный компонент философии Аристотеля; однако, несмотря на обилие непосредственных и опосредованных обращений к анализу языковых форм, следует заметить, что философ не усматривал в языке самостоятельной ценности, считая его прежде всего средством. Именно поэтому его учение о речи и составляет лишь элемент его диалектики, поэтики и риторики, т. е. тех искусств, которые имеют к речи непосредственное отношение и излагаются соответственно в подчинении тем целям, которые стоят перед ними. Между тем, хотя учение о речи составляет только элемент указанных наук, этот элемент — необходимый, поскольку и сама речь является необходимым условием всякого познания. Но при этом, продолжая в общем-то развивать тот инструментальный взгляд на природу речи, который впервые был обозначен софистами, в части его приложения Аристотель занимает, пожалуй, прямо противоположную позицию. Если Протагор пытался заменить словесным анализом анализ самих вещей, что и позволило ему добиться известного универсализма своего метода, то Стагирит предпочитал (по крайней мере, на словах) обратное движение — от вещей к словам и в восходящей к элеатам триаде вещь — мысль — слово особенно выделял первый компонент, подчиняя ему остальные. Таковы теоретические основы аристотелевского учения о речи; на практике же, как мы видели, сам великий изобретатель разделения теории и практики не всегда следовал своим собственным наставлениям и нередко для подтверждения и уточнения своих взглядов прибегал к анализу имен, весьма напоминающему методы Протагора.

Учение Аристотеля развивалось его последователями — перипатетиками, диалектика которых принимала более формальный (т. е. менее связанный с онтологией) характер, а также частично воспринималась диалектиками других школ. В одноименных сочинениях Теофраста и Евдема «Περὶ λέξεως» («О словах», или «О словесных вы-

ражениях») анализируются различные софизмы «от оборотов речи», а попутно излагаются и начала языковой теории. В книге Теофраста «Об утверждениях» развиваются положения из трактата «Об истолковании». Ему же принадлежит книга «Об элементах речи» (Περὶ τῶν λόγων στοιχείων), продолжающая ту линию исследования частей речи, которая намечена в 20-й главе «Поэтики» и первых главах книги «Об истолковании».

\* \*  
\*

В отличие от Платона и Аристотеля, много воспринявших от онтологических новаций Сократа, стоики оказались продолжателями более формальной диалектики мегариков. В первую очередь это выразилось в устойчивом предпочтении мудрецами Стои условного силлогизма и значительно меньшем внимании к родо-видовым отношениям. О великом рвении Зенона к овладению диалектикой рассказывает Диоген Лаэртский: «... когда один диалектик показал ему семь диалектических приемов для софизма „Жнец“, он спросил, сколько тот за них хочет, и, услышав: „Сто драхм“, заплатил двести»<sup>18</sup>. Впрочем, не только мегарская, но и академическая и киническая традиции были восприняты стоиками. Ведь среди учителей Зенона могут быть названы Кратет, Диодор Крон, Стилпонт, Ксенократ и Полемон. Таким образом, основатель Стои был хорошо знаком с учениями практически всех крупных сократических школ. Среди сочинений Зенона, имеющих непосредственное отношение к языковой теории, укажем работы «О словах» и «О знаках»; его преемнику Клеанфу принадлежат книги «Об оборотах» (Περὶ μεταλήψεως) и «О сказуемых» (Περὶ κατηγορημάτων); что же касается диалектического наследия Хрисиппа, то оно огромно. Одно перечисление его логических трудов, приводимое Диогеном Лаэртским, занимает около трех страниц убогистого текста.

По своему влиянию на развитие диалектики Хрисипп может быть поставлен только рядом с Аристотелем, и не случайно долгое время диалектику называли не иначе как «искусством Аристотеля и Хрисиппа». Среди сочинений последнего непосредственное отношение к языковой теории имели: «Об изъявлении единственного и множественного числа», «О неправильностях (ἀνομάλιαι) слов», «О солецизмах», «Об

<sup>18</sup> Диоген Лаэртский. VII, 25. — Как и многие другие мегарские задачи, «Жнец» связан с особенностями логической интерпретации возможного и действительного (т. е. с модальностями): «если ты жнешь, то ты жнешь, а не „может быть, жнешь, может быть, не жнешь“; если ты не жнешь, то ты не жнешь, а не „может быть, жнешь, может быть, не жнешь“, следовательно, никакого „может быть“ не существует». Отметим, что посылки имеют характерную для мегариков форму «если А, то А». Впрочем, какие семь приемов купил Зенон, остается неизвестным.

элементах (στοιχείων) слов и речи», «О соединении (συντάξεως) речей», «О соединении элементов речи», «Об элементах речи», как, впрочем, и многие другие. Помимо Хрисиппа, как диалектики среди стоиков прославились Диоген Вавилонский, автор книги «О звуках речи», а также Антипатр и Архедем.

Философию стоики делили на три части: логику, физику и этику. Логика, или словесная часть философии (именно стоики впервые систематически используют этот термин), включала в себя диалектику и риторику, т. е. искусство научного спора и искусство убеждения. По изложению Диогена Лаэртского, некоторые стоики включали в логику также науку об определениях и науку о канонах и критериях (VII, 42). Последняя использовалась как «средство для отыскания истины» и была призвана различать виды представлений, выделяя среди них *постигающее* представление. Риторика определялась как «наука хорошо говорить при помощи связных рассуждений», а диалектика — как наука правильно спорить при помощи вопросов и ответов», а также как наука об обозначаемом и обозначающем и как наука об истинном, ложном и ни том, ни другом. Из определений следует, что риторика у стоиков, как и у Аристотеля, достаточно близка диалектике, отличаясь лишь стилем представления рассуждений.

Диалектика разделялась ими на две части: науку об обозначающем (σημαίνον, φωνή) и об обозначаемом (σημαινόμενον, λεχτόν) (или иначе — науку о знаках и науку о значениях). Изучение диалектики, как сообщает Диоген Лаэртский, «по общему мнению, начиналось с раздела о звуке», т. е. об обозначающем. В этом разделе рассматривались буквы, звуки<sup>19</sup>, части речи, вопросы о неправильных словах и оборотах (варваризмах и солецизмах), поэтичность, двусмысленность и благозвучие, — т. е. все то, что имеет непосредственное отношение к звукам речи. К части обозначаемого, или высказываемого, относились учение о представлении и возникающем на его основе суждении, подлежащем и сказуемом, видах высказываний, об умозаклчениях, о софизмах, родах и видах. Первая часть стоической диалектики, таким образом, относилась более к материальной стороне слова как знака, сюда же, т. е. к материальной стороне, стоики относили и деление слов на части речи. Вторая составляющая стоической диалектики — учение об обозначаемом, напротив, уже не имеет никакого отношения к звукам и письменам, а занимается исследованием исключительно формальной компоненты слова — его значением. Эта дифференциация знака и значения, настойчиво проводимая стоиками, свидетельствовала о весь-

<sup>19</sup>Интересно, что одним из стимулов для тщательнейшей разработки диалектики оказалось стоическое учение о мудреце, который должен быть непогрешим ни в чем, даже в отдельной букве высказанного им слова; имея в виду эту задачу, стоики уделяли необходимое внимание и учению о буквах.

ма глубококом проникновении в механизм устройства речи<sup>20</sup>, хотя, надо сказать, нечто подобное было и у Аристотеля, но тот не стремился акцентировать внимание на этом вопросе.

Звук стоики определяли как «сотрясение воздуха или же предмет звукового ощущения» (Диоген Лаэртский. VII, 55). Звук человека, в отличие от звука животного, членоразделен и направляется мыслью. Слово или речь (λέξις) — это состоящий из букв звук. Элементами слова являются 24 буквы, название «буква» (στοιχείον) относится и к самому звуку, и к его начертанию, и к названию, например, «альфа». Слово или речь (λέξις) может ничего определенного не значить, и это ясно уже из его определения, но речь (λόγος) всегда что-нибудь значит. Говорятся, произносятся вслух звуки и слова, т. е. обозначающее, а высказываются — предметы, составляющие значения слов; поэтому речь как λέξις относится к обозначающему, а речь как λόγος — уже к обозначаемому.

Стоики выделяли пять частей речи: к аристотелевским имени, глаголу, союзу и члену они добавили нарицание (προσηγορία). Имя связывалось лишь с единичным качеством, а нарицание — с общим качеством. Глагол они определяли как несоставное сказуемое, союз — как неизменяемую часть речи, соединяющую части речи, а член — как изменяемую часть речи, различающую роды и числа. Впоследствии Антипатр присоединил к этим частям речи еще и шестую — наречие (μεσότης).

Имена стоики различали по пяти падежам, включая именительный, родительный, дательный, винительный или причинный (ἀτι-ατιχή) и звательный. Именительный падеж назывался прямым, остальные — косвенными. Каждому падежу соответствовало определенное состояние или положение предмета, обозначенного именем, падежи определенным образом выводились из внешних данных, т. е. из особенностей представлений. Глаголы различались по временам, в основе чего лежало разделение настоящего и прошедшего, а также завершенности или незавершенности действия. Отдельно выделялись неопределенные (αορίστος) прошедшее и будущее время. И имена, и глаголы различались по числу: единственному и множественному. К достоинствам речи относились правильность, ясность, уместность и украшенность. Здесь же, в части обозначающего, разбирались стихотворные размеры, вопросы синонимии, омонимии и подобные, а также ошибки в речи — солецизмы и варваризмы.

Если в части об обозначающем стоики, можно сказать, следовали

<sup>20</sup> Достаточно сказать, что это деление, вновь представленное публике в работах Ф. де Соссюра, было воспринято чуть ли не как откровение, и по сей день оно остается основополагающим для структурной лингвистики.

в русле идей «Поэтики» Аристотеля, то в учении об обозначаемом они стояли ближе к трактату «Категории» и другим произведениям «Органона». Центральное понятие этой части диалектики — обозначаемое (σημαινόμενον), или высказываемое (λεχτόν), являлось определенной новацией стоиков и определялось ими как «бестелесное словесное». Именно в этом «бестелесном словесном» и находились высказываемые предметы, подлежащие и сказуемые, роды и виды, а также истина и ложь. Собственно говоря, последние два компонента и являются ключевыми в выделении сферы высказываемого, вершина которой — учение об умозаклчениях, ведь в звуках речи самих по себе нет ни истины, ни лжи.

Высказывания, учение о которых составляет основу этой части диалектики, делились стоиками на законченные (αὐτοτελής) и неполные (ελλιπής). К законченным высказываниям относились собственно высказывание или суждение (αξιωμα), общий и частный вопрос, повеление, заклинание, клятва, обращение и умозаклчение (силлогизм). К неполным высказываниям относились сказуемые, а по мнению некоторых, и подлежащие. Известны, по меньшей мере, две классификации сказуемых, одна приводится у Диогена Лаэртского, другая — в комментарии Аммония на книгу «Об истолковании». Согласно первой, сказуемые делились на прямые, обратные, средние и возвратные, согласно же другой — кроме просто сказуемого (κατηγόρημα), относящегося к прямому падежу, выделялось парасказуемое, т. е. сказуемое, относящееся к косвенному падежу, например «грустно» в высказывании «Сократу грустно». Кроме того, оба типа сказуемых делились на полные и неполные: к неполным относились такие, которые, кроме глагола, требуют еще и дополнения, например, «любит» и «жаль» в высказываниях «Платон любит Диона», «Платону жаль Диона». Все это деление, несомненно, имело целью облегчение установления истинности/ложности высказываний.

Далее высказывания делились на простые и сложные; сложные — те, что составлены из простых при помощи союзов. Простые высказывания с подлежащим в прямом падеже, по свидетельству Диогена Лаэртского (VII, 69-70), распределялись следующим образом по качеству и количеству: утвердительные — «Дион гуляет»; неопределенные — «некто ходит»; ограничительные — «не добрый он человек»; отрицательные — «не день стоит»; и неопределенно-отрицательные — «никто не ходит». Кроме этого деления, известно и другое: на определенные — «тот гуляет», «этот сидит»; неопределенные — «кто-то сидит», и средние — «человек сидит», «Сократ гуляет» (Секст Эмпирик. Против ученых). VIII, 96–97). Среди сложных высказываний, составленных при помощи союзов из простых (аксиом), особо были выде-

лены условное, утвердительно-условное, разделительное, соединительное, причинное, сравнительное, а также вероятное, возможное, невозможное, необходимое и ненужное. Впрочем, операции с этими высказываниями и дальнейшее их исследование уже не имеют непосредственного отношения к языковой теории и составляют учение об умозаключениях.

Таким образом, стоики восприняли и развили практически все положения языковой теории Платона — Аристотеля. Единственным существенным отличием стоической диалектики от перипатетической стало отношение к этимологиям. Если Аристотель и его последователи принципиально старались не признавать за этимологией роли действительного орудия разума, то стоики, напротив, очень высоко ценили этимологический анализ и, по свидетельству бл. Августина, считали возможным нахождение подлинного значения каждого слова, сводя его в конце концов к определенному постигающему представлению, выраженному в звукоподражании. Одному лишь Хрисиппу принадлежало немалое число книг, посвященных исключительно разнообразным этимологиям. Видимо, эту любовь к словесному анализу стоики унаследовали вместе с учением о Логосе от Гераклита, чье влияние наряду с влиянием Аристотеля и сократических школ было определяющим в формировании стоической доктрины. Отсюда же идет и учение о «семенных логосах», о вечном круговороте огня и некоторые другие важные положения.

Любопытной стороной диалектики стоиков было их учение о синтаксисе (соединении). Как можно представить из дошедших до нас скудных фрагментов и последующей традиции, стоики рассматривали соединение не только различных частей речи между собой: глаголов с именами, членов с именами, союзов с именами и глаголами, но и самих речей, как видно из вышеприведенного названия одного из сочинений Хрисиппа. Таким образом, слово «синтаксис» у стоиков имело достаточно широкое значение.

Само разделение диалектики на обозначаемое и обозначающее подразумевало особое внимание стоических мудрецов ко всяким знакам вообще — и уже в Древней Стое начинает разрабатываться общая теория знаков, включающая также и те знаки, которые являются словами. Доказательство и силлогизм также рассматривались как особого рода знаки, указывающие заключение<sup>21</sup>. Получившая широкое распространение в Риме стоическая диалектика, а вместе с ней и стоическое учение о знаках известны нам также по диалогу

<sup>21</sup>См., напр., следующее рассуждение, приводимое Секстом Эмпириком: «... если существует какой-нибудь знак, то существует знак, и если не существует знак, то знак существует, ибо то, что нет знака, указывается доказательством, которое есть знак» (Три книги Пирроновых положений. II, 131).

бл. Августина «Об Учителе», где проводится обширная типология знаков и их свойств<sup>22</sup>.

Перу бл. Августина принадлежит и единственное дошедшее до нас систематическое изложение стоической диалектики<sup>23</sup>, от которого, впрочем, сохранилась только первая часть. Написанная около 387 г. как учебное руководство работа «De Dialectica», разумеется, не воспроизводит совершенно точно традицию Древней Стои, но основывается, несмотря на некоторые элементы академической диалектики, именно на ней. Диалектика определяется как «наука хорошо спорить» (*bene disputandi scientia*). «Но спорим мы, — писал бл. Августин, — при помощи слов. Слова же бывают простые и сложные» (гл. I). Простые обозначают что-то одно, к примеру, «человек», «лошадь», «спорит», «бежит», а сложные — многое. Так, «говорю» уже не относится к простым словам, поскольку оно подразумевает не только действие, но и лицо, его совершающее, т. е. «я», и соответственно уже не будет простым. К простым словам Августин относит глаголы третьего лица вследствие неопределенности субъекта действия.

Сложные слова обозначают некоторое соединение вещей, как, например, «человек идет». Из них одни образуют предложение (*sententia*), а другие — нет. Из тех, что образуют предложение, не все могут быть оспорены, как, например, «иди в город», «будь ты проклят» и т. п., а лишь те, которые содержат утверждение или отрицание — последние и составляют предмет диалектики. Допускающие истину и ложь высказывания, в свою очередь, могут быть простыми и сложными; сложные состоят из простых при помощи союзов, и их истинность или ложность относится к соединению (гл. II–III).

Таким образом, диалектика, по Августину, делится на две части: изучение простых слов, составляющих материю диалектики, и изучение сложных, где все зависит от особенностей соединения. Первый раздел получает наименование «de loquendo», что может быть переведено как «о говорении», «о речи», «о словесном», а второй делится, в свою очередь, на три следующих: в разделе «de eloquendo» исследуются сложные слова, еще не образующие предложений (стоические неполные высказывания); в разделе «de proloquendo» рассматриваются предложения и высказывания — простые и сложные; наконец, в разделе «de proloquiorum summa» рассматривается соединение слож-

<sup>22</sup>См. об этом подробнее: *Савельев А. Л.* Учение о знаках в диалоге блаженного Августина «De Magistro» // Научная конференция «Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке». Памяти И. Н. Бродского и О. Ф. Серебрянникова. 19–21 июня 1996 г.: Тезисы докладов. СПб., 1996. С. 99–101.

<sup>23</sup>При этом остается неизвестным, знал ли сам Августин о стоическом происхождении развиваемой им диалектической теории, поскольку в «Граде Божьем», например, он очень критически отзывается о логике стоиков (кн. VIII, гл. 7).

ных слов, позволяющее получить вывод. Последнее, следовательно, — это учение об умозаключении, силлогизме. Как можно видеть, первая часть «de loquendo» соответствует стоическому обозначающему, что подтверждается и дальнейшим изложением, а вторая часть, где рассматриваются «сложные слова», — стоическому обозначаемому, поскольку именно там исследовались полные и неполные высказывания, их соединения и силлогизмы. Силлогизм, как и у стоиков, является у Августина вершиной и определенной целью диалектической науки, ради него, собственно, и строится все предшествующее изложение, которое, отметим особо, исходит именно из анализа феноменов речи.

В последующих сохранившихся главах «De dialectica» (с V по X) изложено только учение «de loquendo», т. е. «материя» диалектики, по Августину. «Слово — это знак вещи, воспринимаемый слухом . . . вещи же делятся на чувственно воспринимаемые и умопостигаемые». Речь есть членораздельный значащий звук, членораздельным (*articulatus*) же называется звук, состоящий из букв. Написанное слово уже не является словом самим по себе, а есть знак слова. Также и буква в собственном смысле — это определенный звук, а написанные буквы — знаки этих звуков. Слово, будучи знаком вещи, обладает, таким образом, двумя сторонами — звуком, воспринимаемым ухом, и значением, воспринимаемым разумом. Последнее есть *высказываемое* словом, *dicibile* (латинский аналог греческого *λεχτόν*), и слово, которое произносится с целью обозначения чего-либо, получает название *dictio*. Всего, таким образом, следует различать четыре следующих вещи: слово как членораздельный звук (*verbum*), высказываемое словом, или его значение (*dicibile*), слово как соединение первого и второго (*dictio*), и, наконец, саму вещь (*res*), обозначаемую словом. Соотношение этих четырех компонентов и исследуется в первой части науки диалектики.

Каждое слово, за исключением собственно его звука (*sono*), рассматривается диалектиком с точки зрения его происхождения (*originem*), силы (*vim*), изменения (*declinationem*) и устройства (*ordinationem*) (гл. VI). Итак, первое, что следует знать о слове, — это, в соответствии со стоической традицией, этимология — вещь чрезвычайно интересная, но наименее полезная, по словам Августина (*res nimis curiosiosa et minus necessaria*). Сила же слов заключается в их воздействии на слушателя, причем воздействие это двояко: от звука и от значения. Так, само имя Артаксеркс вызывает ощущение резкости, а имя Эвриал, напротив, указывает на мягкость; и если не знать ничего об этих царях, а руководствоваться лишь их именами, то они оставят именно такое впечатление. Подобным образом воздействуют и значения имен,

которые переносятся на их обладателей, — такова вкратце сила слов, в связи с которой Августин излагает учение о неведении и двусмысленности, препятствующих правильному пониманию.

Неведение и двусмысленность по отношению к словам он разделяет первоначально на три вида: когда нечто открыто чувствам, но закрыто для разума; когда нечто закрыто для чувств и открыто для разума и когда нечто закрыто и для чувств и для разума. Первое случается, когда человек, например, хорошо видит что-то, но не знает, что это, или в случае, когда он хорошо услышал слово, но не знает его значения. Второе — когда человек видит нечто смутно (например, другого человека), но хорошо понимает, что именно он видит, или когда он слышит слово невятно, но также понимает, о чем идет речь. Третий вид — когда и восприятие и понимание не дают результата. Слова достигают своей цели при помощи силы, но, что отмечается особо, всякое слово, сказанное без связи, — двусмысленно. Далее излагается более подробное исследование различных типов двусмысленностей, на чем работа и обрывается.

Как можно видеть, учение «de loquendo», восходящее к стоическому «обозначающему», фактически явилось продолжением древней «правильности имен», которая, таким образом, оказалась встроенной в общую структуру стоической диалектики, оказавшейся наиболее синтетической среди других традиций. Сюда же, в часть «обозначающего», входило и учение о частях речи, содержавшееся, по всей видимости, в утраченной части трактата Августина, который, пожалуй, дал наиболее четкое представление об общем характере стоической диалектики, хотя бы и в латинском изложении. Однако, хотя работа Августина и поражает глубокой систематичностью, последовательностью и живостью изложения, не следует забывать, что «за вычетом» незаурядного литературного и научного таланта автора собственно теоретическая часть сообщаемых сведений является лишь копией той диалектической теории, которую разработали стоики. Впрочем, хотя латинские авторы и не создали ничего нового в области диалектики, но именно им мы обязаны сохранением научного наследия греков — частью посредством пересказов и интерпретаций, как в случае с диалектическим трактатом бл. Августина, частью — непосредственно, как в случае с вывезенными Суллой в Рим полузабытыми к тому времени сочинениями Аристотеля.

\* \*  
\*

Достигнув определенной вершины своего развития в творчестве Хрисиппа и его ближайших учеников, античная диалектика, а вме-

сте с ней и учение о речи уже никогда больше не поднимались на такой высокий уровень. Отчасти это было связано с тем, что в самой стоической школе наметился некоторый «поворот» в сторону этики, так что ни представители Средней Стои, ни, тем более, римские стоики уже не внесли ничего нового в развитие диалектической теории. Более же глубокой причиной было заметное падение самой философской культуры, сопутствовавшее общему разложению античного мира. Идеал философской школы как научного сообщества, осуществленный в наибольшей степени академиками, перипатетиками и древними стоиками, стремительно деформировался в сторону преобладания религиозных, узкоэтических и иных подобных тенденций. Впрочем, возможность такой эволюции была изначально заложена в «программу развития» философского знания, восходящего к религиозно-реформаторской деятельности древних мудрецов — достаточно вспомнить Ксенофана, Анаксагора, не говоря уже о пифагорейском союзе.

Тем не менее совсем не одно и то же — ранняя философская мысль досократиков и религиозно-философские учения поздней античности. В некотором смысле и восход Солнца походит на его закат, однако последствия их совершенно различны. Превращение философских школ в некое подобие религиозных сект, которое мы наблюдаем в поздней античности, сопровождалось прежде всего повсеместным падением уровня диалектики, составлявшей основной костяк, «скелет» философии классического периода. Ощутимая деградация уровня диалектических исследований, затронувшая все без исключения философские школы поздней античности, привела к забвению основных достижений классики, достигнутых перипатетической и стоической школами. Созданная стоиками языковая теория, сконцентрировавшая в себе почти трехсотлетнюю традицию диалектической мысли, перестала быть понятна и самим новым стоикам, не говоря уже о представителях других школ.

В то время в стенах знаменитой Александрийской библиотеки формировалась школа филологов, из которых наиболее известны ее основатель Зенодот, а также Аристофан Византийский, Аристарх Самофракийский, ученик последнего Дионисий Фракийский и Аполлоний Дискол, основной задачей которых стало издание и комментирование древних текстов. Именно трудами ученых этой школы было подготовлено «каноническое» издание поэм Гомера<sup>24</sup>, велись исследования гомеровского языка, сверялись тексты древних философов, поэтов, комедиографов, составлялись различные словари и глоссарии. Эта дея-

<sup>24</sup>Над ним, впрочем, не уставали подшучивать философы. Так, Тимон Флиунтский на вопрос о том, как раздобыть в надежном виде поэмы Гомера, ответил: «Найти старинные списки вместо нынешних, выправленных» (*Диоген Лаэртский*. IX, 113).

тельность требовала создания определенной инструментальной базы, куда включались бы наиболее полезные результаты филологических наблюдений. Такой базой и стала выросшая в недрах этой школы новая грамматика, древнейшим известным образцом которой является трактат Дионисия Фракийского «Τέχνη γραμματικῆ» («Наука грамматики»).

Это небольшое сочинение, помимо обычного для грамматики учения о буквах, включило в себя и рассмотрение частей речи, составлявшее доселе предмет диалектики; именно последнее существенно отличает грамматику александрийцев от всей предшествующей традиции; ведь прежде, как известно, грамматика не распространялась на что-либо более сложное, чем буквы. Начинается «Τέχνη» с определения грамматики — «опытного знания о большей части того, что говорится у поэтов и писателей», которое достаточно наглядно иллюстрирует различие учения александрийцев от диалектической теории языка. Далее Дионисий выделяет следующие части грамматики:

- 1) искусство чтения [вслух] с различением просодий;
- 2) толкование, исследование тропов и композиции текстов;
- 3) объяснение неясных слов [глосс] и исторические отсылки;
- 4) выявление происхождения слов;
- 5) подробное изучение аналогии;
- 6) критический разбор поэзии.

Сам автор, впрочем, вовсе не следует намеченному им плану, что даже дало повод считать «Τέχνη γραμματικῆ» более поздней компиляцией. Сегодня, однако, большинство исследователей предпочитает признавать авторство Фракийца<sup>25</sup>. Во II главе определяется чтение, в III — просодии, в IV — знаки препинания, в V — рапсодия, в VI — буквы, в VII–X типы слогов, в XI дается определение слова как «наименьшей части правильно построенного предложения», предложения как «соединения слов, имеющего законченное значение», и выделяются восемь частей речи: имя, глагол, причастие, член, местоимение, предлог, наречие, союз. В XII главе определяется имя — «часть речи, изменяемая по падежам, обозначающая что-то телесное или бестелесное». Свойства имени — род, вид, форма, число, падеж. Далее излагается потрясающе громоздкая система классификации имен, включающая 22 подвида, часть из которых заимствована от перипатетиков и стоиков, а часть выделена самими александрийцами. В XIII главе дано определение глагола как «слова, не изменяющегося по падежам,

<sup>25</sup>См. обзор современных мнений на этот счет в предисловии А. Кемпа к английскому переводу Дионисия: Kemp A. The *Technē Grammatikē* of Dionisius Thrax: English Translation with Introduction and Notes // *The History of Linguistics in the Classical Period*. Amsterdam, 1987. P. 169–191.

а изменяющегося по временам, лицам и числу и обозначающего действие или страдание». В XIV главе излагаются спряжения глаголов, в XV причастие, в XVI член, в XVII — местоимение, в XVIII — предлог, в XIX наречие и в XX — союз.

Как можно видеть, «Τέχνη» Дионисия включает в себя и традиционный грамматический материал — учение о буквах, слогах и просодиях, и элементы диалектики перипатетиков и стоиков. Влияние стоиков, в частности, видно в определении предложения, в выделении свойств имени и глагола, во включении в список частей речи причастия. От академиков и стоиков идет и различие телесного и бестелесного, приведенное в определении имени. Но, пожалуй, наибольшее влияние на новую грамматику александрийцев оказало то учение, которое Аристотель развивал в двадцатой главе своей «Поэтики»: это видно по выделению именно восьми частей речи, последовательности изложения (сначала буквы, затем слоги, имя, глагол и остальные части речи) и по особенностям трактовки свойств отдельных частей речи. Но если у Аристотеля мы находим строго разработанное на диалектических основах учение, где все подчинено определенному плану и соблюдается единство оснований деления (к каковым относились наличие/отсутствие значения, делимость/неделимость и др.), восходящее к общеметодологическим основам его философии, то у Фракийца обнаруживается лишь «скелет» аристотелевской теории, на который нанизаны совершенно разнородные, почерпнутые из различных источников положения: от стройной архитектуры перипатетических и стоических теорий остались одни лишь терминологические обломки.

К числу прочих новшеств, внесенных александрийцами, относилось включение в перечень частей речи причастия, не отделявшегося стоиками от глагола, а также предлога, рассматривавшегося стоиками и Аристотелем как разновидность союза и местоимения, считавшегося в диалектике разновидностью члена (артикля). Напротив, выделенное особо стоиками нарицание Фракиец помещает внутри имени. Новым является также выделение спряжения глагола, игнорировавшегося логиками как лишенной какого-либо определенного значения характеристики. Кроме того, в александрийской грамматике отсутствует учение о подлежащих и сказуемых, рассматривавшееся, видимо, как преимущественно логическое.

Восприятие грамматиками логической терминологии отличалось изрядным своеобразием: странные и маловразумительные, с точки зрения диалектики, определения частей речи и их свойств (имя — то, что изменяется по падежам, а глагол — то, что изменяется не по падежам, а по временам) свидетельствовали о весьма фрагментарном заимствовании александрийскими учеными диалектической теории. Естественно,

соединение в учении александрийцев столь разнородных компонентов, как грамматика и диалектика, не могло быть совершенным, и введение в грамматику таких, прежде сугубо диалектических терминов, как «род», «вид», «имя», «глагол», «союз» и пр., при небрежении основными целями диалектики — истинностно-ложной интерпретацией высказываний, анализом рассуждений и построением доказательств, привело к тому, что значения и соответственно определения этих терминов существенно затуманились и исказились, поскольку критерии их выделения были опущены.

Наличие этих двух разных начал в учении александрийцев довольно тонко подметил еще Секст Эмпирик, строго различивший две науки: «Однако грамматика бывает двоякая. Одна обещает научить основным звукам речи и их сочетаниям и вообще является некоей наукой о письме и чтении. Другая же является знанием более глубоким в сравнении с первой, заключааясь не в простом познании письмен, но и в исследовании их происхождения и природы, а также частей речи, составляемых из них, и вообще в том, что относится к той же категории» (Против ученых. 1. 49). Называя первую грамматику грамматистикой, пирронист не считает ее даже наукой и поэтому не критикует ее, а напротив, относит к «предметам самым полезным».

Итак, восприняв многое от диалектики, грамматика александрийцев, тем не менее, была ориентирована на цели, прямо противоположные диалектическим исследованиям, представляя собой прикладную филологическую дисциплину, продолжающую традицию первой грамматики. Филологическая практика, как следует предположить, привела и к возникновению учения об «аналогии» — единственной, не заимствованной из диалектики части языковой теории александрийцев. Как можно узнать из позднейших источников, в том числе из трактата Марка Теренция Варрона «De lingua latina» и цитированного выше сочинения Секста Эмпирика «Против грамматиков» (первая книга трактата «Против ученых»), александрийские филологи называли аналогией сходство словообразования и словоизменения, проявляющееся в окончаниях и иных изменяемых частях слова. Возможно, александрийцы пытались распространить этот принцип на все слова, систематизируя их по соответствующим типам, однако принцип аналогии, чуждый семантических критериев, не мог быть универсальным.

Первоначально эклектическая грамматика александрийцев подверглась справедливой критике со стороны логиков — прежде всего стоиков, упрекавших филологов Мусейона во вторжении в «чужую епархию» и неправомерном искажении смысла диалектических учений. Грамматик, по словам стоического философа Кратета Маллосского, возглавившего Пергамскую библиотеку, построенную по типу

Александрийской<sup>26</sup>, должен быть лишь «истолкователем глосс и восстановщиком просодий», оставив всю прочую премудрость на долю искусственного в логике критика. Хотя и существует некоторое родство между логикой и грамматикой, логик является как бы архитектором, а грамматик — его прислужником<sup>27</sup>. Кратет также критиковал и александрийское учение об аналогии, указывая на неподчинение многих слов этому принципу. Но окончательный итог противостояния стоической диалектики и александрийской грамматики (в силу обозначенных выше причин) завершился все же победой александрийцев, по образцу учения которых впоследствии стали составляться грамматики латинского языка (наибольшее влияние из них оказали сочинения Доната и Присциана), а за ними — и все грамматики новоевропейских языков, включая русский. Так, в частности, современная методология изложения грамматики, принятая в отечественных учебниках, восходит именно к методу Присциана, который, как и другие последователи александрийской традиции, не приводил каких-либо рациональных оснований в пользу выделения тех или иных частей речи и их свойств, а лишь подкреплял вводимые правила примерами, взятыми из художественной литературы.

Не создав оригинальных языковых теорий и пользуясь исключительно достижениями греков, римские ученые, тем не менее, придали грамматике более прочный, чем она имела до этого, статус. Сложившаяся в Риме система преподавания «семи свободных искусств» (*septem artes liberales*) оказалась своеобразным вариантом латинской иерархии наук, заменившей традиционное греческое деление философии на физику, этику и логику. Таким образом, диалектическое учение о речи, пройдя достаточно длинный и внушительный путь — от первых учений «о правильности имен» и до стоической науки об обозначаемом и обозначающем, оказалось ассимилированным грамматикой и уже в составе грамматики было впоследствии воспринято европейскими народами. С этих пор начинается новый этап в истории взаимоотношений диалектики (логики) и грамматики как самостоятельных дисциплин, претендующих на наличие собственных теоретических оснований.

---

<sup>26</sup>Интересно, что царь Пергама прежде приглашал александрийцев, но те отказались, и тогда последовало приглашение Кратету Маллосскому — философу-стоику из Киликии, что говорит о возросшей в то время популярности филологии и, напротив, оскудении интереса к диалектике.

<sup>27</sup>Секст Эмпирик. Против ученых. I, 79.